

Фёдор Шаляпин

Маска и душа

УДК 929
ББК 85.31-8
Ш18

Шаляпин Ф.

Ш18 Маска и душа / Ф. Шаляпин. — М.: Книга по Требованию, 2016. — 320 с.

ISBN 978-5-521-78328-1

В 1922 году великий певец уехал на гастроли за границу и уже не вернулся в Россию. Книга «Маска и душа» была написана им на чужбине и впервые вышла в Париже в 1932 году. Только тогда мир впервые узнал истинные чувства великого певца, скрытые под маской актера. О жизни в России, о людях, с которыми столкнула судьба, о горькой доле изгнанника, о тоске по Родине, о своей душе, которую не смогли понять и принять слишком многие. В предисловии к книге певец написал: «В моей работе я стремился прежде всего к полной правдивости. Я выступаю перед читателями без грима...»

УДК 929
ББК 85.31-8

ISBN 978-5-521-78328-1

© Книга по Требованию, оформление, 2016

Часть первая

I. МОЯ РОДИНА

1

В былые годы, когда я был моложе, я имел некоторое пристрастие к рыбной ловле. Я оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в деревню на реку. Целые дни до позднего вечера я проводил на воде, а спать заходил куда попало, к крестьянам. В один из таких отлетов я устроился в избе мельника. Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека в потасканной серой одежде и в дырявых валяных сапогах, хотя было это летом. Он лежал на полу с котомкой под головой и с длинным посохом под мышкой. Так он и спал. Я лег против двери на разостланном для меня сене. Не спалось. Волновала будущая зари. Хотелось зари. Утром рыба хорошо клует. Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. Скоро начало светать. И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, как-то крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошел прямо в дверь. На крыльце он подошел к ручному моейнику — к незатейливой посудине с двумя отверстиями, висевшей на веревочке на краю крыльца. С моего ложа я с любопытством наблюдал за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растер ее, вытерся рукавом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и пошел.

Я было собирался со стариком заговорить, да не успел — он ушел. Очень пожалел я об этом, и захотелось мне хотя бы взглянуть на него еще один раз. Чем-то старик меня к себе привлек. Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. Старик

уходил вдаль. Долго смотрел я ему вслед. Фигура его, по мере того, как он удалялся, делалась меньше, меньше и наконец исчезла вся. Но в глазах и в мозгу моем она осталась навсегда, живая.

Это был странник. В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела. Но они всегда чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыганский образ жизни. Ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. Блуждали по подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. Отдыхали и спали где попало. Цель их странствований угадать было невозможно. Я убежден, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и зачем он идет, — он не ответит. Не знает. Он над этим не думал. Казалось, что они чего-то ищут. Казалось, что в их душах жило смутное представление о неведомом каком-то крае, где жизнь праведнее и лучше. Может быть, они от чего-нибудь бегут. Но если бегут, то, конечно, от тоски — этой совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда беспричинной русской тоски.

В «Борисе Годунове» Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный представитель этой бродяжной России — Варлаам. На русской сцене я не видел ни одного удовлетворительного Варлаама, и сам я не в совершенстве воплощал этот образ, но настроение персонажа я чувствую сильно и объяснить его я могу. Мусоргский с несравненным искусством и густотой передал бездонную тоску этого бродяги — не то монаха-расстриги, не то просто какого-то бывшего церковного служителя. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись, а если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумать что-нибудь этакое разгульно-пьяное, будто бы смешное. Удивительно изображен Мусоргским

горький юмор Варлаама — юмор, в котором чувствуется глубокая драма. Когда Варлаам предлагает Гришке Отрепьеву с ним выпить и повеселиться и когда он на это получает от мальчишки грубое: «Пей, да про себя разумей!» — какая глубокая горечь звучит в его реплике: «Про себя! Да что мне про себя разуметь? Э-эх!..» Грузно привалившись к столу, он запевает веселые слова — в миноре:

Как едет ён, да погоняет ён,
Шапка на ём торчит, как рожон...

Это не песня, а тайное рыдание.

Русские актеры обыкновенно изображают Варлаама каким-то отвратительным алкоголиком, жрущим водку. В его страхе перед полицейским приставом актерам обыкновенно мерещится преступность Варлаама: темное за ним, дескать, дело — он боится, как бы его не арестовали. Едва ли это так. Боится ареста? Да он уже арестован, всей своей жизнью арестован. Может быть, он в самом деле уголовный. Зарезал. Плут-то он во всяком случае. Но не в этом суть Варлаама. «Что мне про себя разуметь?» — значит, *что* я и *кто* я такой? Отлично про себя разумею, что я мразь. Душа Варлаама израна сознанием своего ничтожества. Куда бы ни ступил он, непременно провалится — в сугроб или в лужу.

Литва ли, Русь ли,
Что гудок, что гусли...

Куда бы он ни пошел, он идет с готовым сознанием, что никому он не нужен. Кому нужна мразь?.. Вот и ходит Варлаам из монастыря в монастырь, занимается ловлей рыбы, может быть, в соловецкой обители, шатается из города в город вприиск за чудотворной иконой по церковным городским приходам. В горсточке

держит свечку восковую, чтобы ее не задуло, и орет сильным басом, подражая протодиаконам: «Сокрушите змия лютого со два на десятию крылами хоботъ». От него пахнет потом, и постным маслом, и ладаном. У него спутана и всклокочена седая борода, на конце расходящаяся двумя штопорами. Одутловатый, малокровный, однако с сизо-красным носом, он неперменный посетитель толкучего рынка. Это он ходит там темносерый, весь поношенный и помятый, в своей стеганной на вате шапке, схожей с камилавкой. Это он зимою «жрет» в обжорном ряду толчка, если есть на что жрать, требуху из корчаги, на которой обыкновенно сидит толстая, одетая в несколько кофт, юбок и штанов торговка: бережет тепло требухи. Это он рассказывает своим трактирным надоедателям, как и за что выгнали его из последнего монастыря:

— Заиокал, заиокал, заиокал и заплясал в коридоре обители божьей. Прыгал пьяный, в голом виде, на одной ноге... А архиерей по этому коридору к заутрене!

Выгнали...

Когда Варлаам крестится, он крестит в сердце своем пятно тоски, пятно жизни. Но ничем не стирается оно: ни пляской, ни цоканием, ни песней... И всего только у него утешения, что читать или петь: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы». Он знает, что он не труждающийся, но он искренно думает, что он обремененный... Да еще подкрепляет он себя опиумом собственного изобретения: есть, дескать, какой-то пуп земли, где живут праведники и откуда его, горемычного, не прогонят. ...Не знаю, конечно, нужны ли такие люди, надо ли устроить так, чтобы они стали иными, или не надо. Не знаю. Одно только я скажу: эти люди — одна из замечательнейших, хотя, может быть, и печальных красок русской жизни.

Если бы не было таких монахов, было бы труднее жить Мусоргскому, а вместе с ним — и нам всем...

Бездонна русская тоска. Но вдумываясь в образы, которые мне приходилось создавать на русской сцене, я вижу безмерность русского чувства вообще — какое бы оно ни было. Вот в «Хованщине» я вижу религиозный фанатизм. Какой же этот фанатизм сильный и глубокий! Холодному уму непостижимо то каменное спокойствие, с каким люди идут на смерть во имя своей веры. Стоят у стенки таким образом, что и не думают, повернуть ли им назад. Они головой прошибут стену и не заметят, что им больно... В «Псковитянке» Римского-Корсакова я изображаю Ивана Грозного. Какое беспредельное чувство владычества над другими людьми и какая невообразимая уверенность в своей правоте. Нисколько не стесняется Царь Иван Васильевич, если река потечет не водой, а кровью человеческой.

«И яко да злодеяния бесовския испраздниши. И учеником своим власть давай, еже наступити на змия и скорпия, и на всю силу вражию».

И наступал...

Великая сила в Борисе Годунове, этой наиболее симпатичной мне личности во всем моем репертуаре. Но этот бедняга, хоть и властный Царь, как огромный слон окружен дикими шакалами и гиенами, низкая сила которых его в конце концов одолеет. Инстинктивно чувствуя слоновую силу Бориса и боясь этой силы, бояре ходят вокруг да около с поджатыми хвостами, щелкая зубами. Но они смиренны только до поры до времени. В удобную минуту трусливая, но хитрая, анархическая и хищная свора растерзает слона. И опять-таки с необузданной широтой развернется русский нрав в крамольном своеволии боярства, как и в деспотии Грозного.

Размахнется он за все пределы и в разгульном бражничестве Галицкого в великолепном произведении Бородина «Князь Игорь». Распутство Галицкого будет таким же беспросветно крайним, как и его цинизм, Не знает как будто никакой середины русский темперамент.

2

Игра в разбойники привлекательна, вероятно, для всех детей повсюду, во всем мире. В ней много романтического – враг, опасность, приключения. Но особенно любима эта игра российскими детьми. Едва ли где-нибудь в другой стране разбойники занимают такое большое место в воображении и играх детей, как у нас. Может быть, это потому так, что в России всегда было много разбойников и что в народной фантазии они срослись с величественной декорацией дремучих лесов России и великих российских рек. С образом разбойника у русского мальчишки связано представление о малиновом кушаке на красной рубаше, о вольной песне, о вольной, широкой, размашистой жизни. Быть может, это еще так и потому, что в старые времена, когда народ чувствовал себя угнетенным барами и чиновниками, он часто видел в разбойнике-бунтаре своего защитника против господского засилья. Кто же из разбойников особенно полюбился России? Царь-разбойник, Стенька Разин. Великодушный и жестокий, бурный и властный, Стенька восстал против властей и звал под свой бунтарский стяг недовольных и обиженных. И вот замечательно, что больше всего в Разине легенда облюбовала его дикий романтический порыв, когда он, «веселый и хмельной», поднял над бортом челна любимую персидскую княжну и бросил ее в Волгу-реку – «подарок от донского казака», как поется о

нем в песне. Вырвал, несомненно, из груди кусок горячего сердца и бросил за борт, в волны... Вот какой он, этот популярный русский разбойник!

Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русского человека, о судьбах России и не вспомнить о Разине – просто невозможно. Пусть он не воплощает России, но не случайный он в ней человек, очень сродни он русской Волге... Находит иногда на русского человека разинская стихия, и чудные он тогда творит дела! Так это для меня достоверно, что часто мне кажется, что мы все – и красные, и белые, и зеленые, и синие – в одно из таких Стенькиных наваждений взяли да и сыграли в разбойники, и еще как сыграли – до самозабвения! Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись по-разински и бросили в волны... Но не персидскую княжну на этот раз, а нашу родную мать – Россию... «Подарок от донского казака».

Развелись теперь люди, которые готовы любоваться этим необыкновенно романтическим жестом, находя его трагически-прекрасным. Трагическую красоту я вообще чувствую и люблю, но что-то не очень радуется душа моя русскому спектаклю. Не одну романтику вижу я в нашей игре в разбойники. Вижу я в ней многое другое, от романтизма очень далекое. Рядом с поэзией и красотой в русской душе живут тяжкие, удручающие грехи. Грехи, положим, общечеловеческие – нетерпимость, зависть, злоба, жестокость, но такова уже наша странная русская натура, что в ней все, дурное и хорошее, принимает безмерные формы, сгущается до густоты необычной. Не только наши страсти и наши порывы напоминают русскую метель, когда человека закружит до темноты; не только тоска наша особенная – вязкая и непролазная; но и апатия русская какая-то, я бы сказал,

пронзительная. Сквозная пустота в нашей апатии, ни на какой европейский сплин не похожая. К ночи такой пустоты, пожалуй, страшно делается.

Не знает как будто середины русский темперамент. До крайности интенсивны его душевные состояния, его чувствования. Оттого русская жизнь кажется такой противоречивой, полной всяких контрастов. Противоречия есть во всякой человеческой душе. Это ее естественная светотень. Во всякой душе живут несходные чувства, но в срединных своих состояниях они мирно уживаются рядом в отличном соседстве. Малые, мягкие холмы не нарушают гармонии пейзажа. Они придают ему только больше жизни. Не то цепь высоких и острых гор – они образуют промежуточные бездны. Бездны эти, положим, только кажущиеся – это ведь просто уровень почвы, подошвы гор, но впечатление все-таки такое, что земля подверглась конвульсиям.

Быть может, это от некоторой примитивности русского народа, оттого, что он еще «молод», но в русском характере и в русском быту противоречия действительно выступают с большей, чем у других, резкостью и остротой. Широка русская натура, спору нет, а сколько же в русском быту мелочной, придирчивой, сварливой узости. Предельной нежностью, предельной жалостью одарено русское сердце, а сколько в то же время в русской жизни грубой жестокости, мучительного озорства, иногда просто бесцельного, как бы совершенно бескорыстного. Утончен удивительно русский дух, а сколько порою в русских взаимоотношениях топорной нечуткости, и оскорбительной подозрительности, и хамства... Да, действительно ни в чем, ни в хорошем, ни в дурном, не знает середины русский человек.